

способность к строгой самокритике в связи с искренней и глубокой скромностью, глубина переживаний и благородство характера, замкнутого и твердого, обещают нам, что его будущее *творение* будет обильно, многообразно и монументально. Уже и теперь мы вправе смотреть на него как на воссоздателя исторического пейзажа.

Заглядывая в возможное будущее, мы видим для него несколько путей, еще им не испробованных, но неизбежных. С одной стороны — и монументальность композиций, и строгость замыслов ведут его неизбежно к стенной живописи. Только в ней он сможет дать окончательные формы своим видениям.

С другой же стороны, в нем не получил еще достойного выражения график и мастер светотени. Его большие рисунки тушью (1911 г.) и сотни карандашных эскизов, хранящихся в его картонах, говорят о том, какой мастер гравюры и черного офпорта скрывается в нем. Сделавшись листами большого *in-folio*, его композиции приобретут совершенно иную значительность. Чувствуется необходимость перелистывать их, как страницы книги. Можно представить себе, какой вклад в искусство составят его «Киммерии печальная область», его «Апокалипсис», его «Золотой век», стоящие рядом с «Великолепиями Рима» и «Тюрьмами» Пиранези.

СУРИКОВ

(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ)

Познакомился я с Василием Ивановичем Суриковым в начале 1913 года, когда И. Э. Грабарь предложил мне написать о нем монографию для издательства Кнебеля. Через общих знакомых я обратился к Василию Ивановичу¹ с вопросом: не буду ли я ему неприятен как художественный критик и не согласится ли он дать мне материалы для своей биографии. Василий Иванович ответил, что ничего не имеет против моего подхода к искусству, и согласился рассказать мне свою жизнь. Когда мы встретились и я изложил ему предполагаемый план моей работы, он сказал: «Мне самому всегда хотелось знать о художниках то, что Вы хотите обо мне написать; и не находил таких книг. Я Вам все о себе расскажу по порядку. Сам ведь я записывать не умею. Думал, так моя жизнь и пропадет вместе со мною. А тут все-таки кое-что останется».

Наши беседы длились в течение января месяца. Во время рассказов Василия Ивановича я тут же делал себе заметки, а вернувшись домой, в тот же вечер восстановлял весь разговор в наивозможной полноте, стараясь передать не только смысл, но и форму выражения, особенности речи, удержать подлинные слова.

Смерть Василия Ивановича застала мою монографию еще не оконченной. Но я спешу опубликовать мои разговоры с ним как материалы для его биографии и для того, чтобы хоть в слабой степени запечатлеть звуки его живого голоса.

Приведя в порядок мои записи, я построил их не в последовательности наших бесед, так как Василий Иванович часто отвлекался, возвращался назад и повторял уже рассказанное, но в порядке хронологическом, чтобы дать связную картину его жизни.

Суриков был среднего роста, крепкий, сильный, широкоплечий, моложавый, несмотря на то, что ему было уже под семьдесят: он родился в 1848 году. Густые волосы с русою проседью, подстриженные в скобку, лежали плотною шапкой и не казались седыми. Жесткие и короткие, они слабо вились в бороде и усах.

В наружности простой, народной, но не крестьянской, чувствовалась закалка крепкая, крутая: скован он был по-северному, по-казацки.

Рука у него была маленькая, тонкая, не худая. С красивыми пальцами, суживающимися к концам, но не острыми.

Письмена на ладони четкие, глубокие, цельные. Линия головы сильная, но короткая. Меркуриальная — глубока, удвоена и на скрещении с головной вспыхивала звездой, одним из лучей которой являлось уклонение Аполлона в сторону Луны.

Однажды, рассматривая его руку, я сказал Василию Ивановичу: «У Вас громадная сила наблюдательности: даже то, что Вы видели мельком, у Вас остается четко в глазах. Разум у Вас ясный и резкий, но он не озаряет области более глубокие и представляет полный простор бессознательному. Идея, едва появившись, у Вас тотчас же облекается в зрительную форму, опережая свое сознание. Вы осознаете из форм...»

Он перебил меня:

«Да вот у меня было так: я жил под Москвой на даче,² в избе крестьянской. Лето дождливое было. Изба тесная, потолок низкий. Дождь идет, и работать нельзя. Скушно. И стал я вспоминать: кто же это вот точно так же в избе сидел. И вдруг... Меншиков... сразу все пришло — всю композицию целиком увидел. Только не знал еще, как княжну посаджу.

...А то раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал. Да и „Казнь стрельцов“ точно так же пошла: раз свечу зажженную днем на белой рубахе увидел, с рефлексами».

В творчестве и личности Василия Ивановича Сурикова русская жизнь осуществила изумительный парадокс: к нам в двадцатый век она привела художника, детство и юность которого прошли в XVI и в XVII века русской истории.

В одной научной фантазии Фламмарион рассказывает, как сознательное существо, удаляющееся от земли со скоростью, превышающей скорость света, видит всю историю земли развивающейся в обратном порядке и постепенно отступающей в глубину веков.³

Для того чтобы проделать этот опыт в России в середине XIX века (да отчасти и теперь), вовсе не нужно было развивать скорости, превосходящей скорость света, а вполне достаточно было поехать на перекладных

с запада на восток, по тому направлению, по которому в течение веков постепенно развертывалась русская история.

Один из секретов Сурикова — цельного и подлинного художника-реалиста, посвятившего жизнь самому неверному из видов искусства, исторической живописи, — в том, что он никогда не восстанавливал археологически формы жизни минувших столетий, а добросовестно писал то, что сам видел собственными глазами, потому что он был действительным современником и Ермака, и Стеньки Разина, и боярыни Морозовой, и казней Петра.

Он происходил из старой казацкой семьи. Предки его пришли в Сибирь вместе с Ермаком. Род его идет, очевидно, с Дона, где в Верхне-Ягирской и Кундрючинской станицах еще сохранились казаки Суриковы. Оттуда они пошли завоевывать Сибирь и упоминаются как основатели Красноярска в 1622 г.⁴ Здесь двести двадцать шесть лет спустя и родился В. И. Суриков.

«После того как они Ермака потопили в Иртыше, — рассказывал он, — пошли они вверх по Енисею, основали Енисейск, а потом Красноярские Остроги — так у нас места, укрепленные частоколом, назывались».

Развертывая документы и книги, он с гордостью читал вслух Историю Красноярского бунта,⁵ когда казаки спустили по Енисею неугодного им царского воеводу Дурново, и при упоминании каждого казацкого имени перебивал себя, восклицая: «Это ведь все сродственники мои. . . Это мы-то — воровские люди. . . И с Многогрешными я учился — это потомки Гетмана. . .».⁶

А потом он начинал рассказывать:

«В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый. И край-то какой у нас. Сибирь западная — плоская, а за Енисеем у нас уже горы начинаются: к югу тайга, а к северу холмы, глинистые — розово-красные. И Красноярск — отсюда имя; про нас говорят: „Краснояры сердцем яры“.

Горы у нас целиком из драгоценных камней — порфир, яшма. Енисей чистый, холодный, быстрый. Бросишь в воду полено, а его бог весть уже куда унесло. Мальчиками мы, купаясь, чего только не делали. Я под плоты нырял: нырнешь, а тебя водой внизу несет. Помню, раз вынырнул раньше времени: под балками меня волочило. Балки скользкие, несло быстро, только небо в щели мелькало — синее. Однако вынесло. А на Каче — она под Красноярском с Енисеем сливается — плотины были. Так мы оттуда — аршин шесть-семь высоты — по водопаду вниз ныряли. Нырнешь, а тебя вместе с пеной до дна несет — бело все в глазах. И надо на дне в кулак песку захватить, чтобы показать; песок чистый, желтый. А потом с водой на поверхность вынесет.

А на Енисее острова — Татышев и Атаманский. Этот по деду назвали. И кладбище над Енисеем с могилой дедовой: красивую ему купец могилу сделал. В семье у нас все казаки. До 1825 года простыми казаками были, а потом офицеры пошли. А раньше Суриковы все сотники, десятники. А дед мой Александр Степанович был полковым атаманом.⁷

Подполье у нас в доме было полно казацкими мундирами, еще старой екатерининской формы. Не красные еще мундиры, а синие, и кивера с помпонами.

Помню, еще мальчиком, как войска идут — сейчас к окну. А внизу все мои сродственники идут — командирами: и отец, и дядя Марк Васильевич,⁸ и в окно мне грозят рукой.

Атамана, Александра Степановича, я маленьkim только помню — он на пятьдесят третьем году помер.⁹ Помню, он сказал раз: „Спешите-ка Васе шинель, я его с собой на парад буду брать“. Он на таких дрожках с высокими колесами на парад ездил. Сзади меня посадил и повез на поле, где казаки учились пиками. Он из простых казаков подвигами своими выдвинулся. А как человек был простой. . . Во время парада баба на поле заехала, не знает, куда деваться. А он ей: „Кума! Кума! Куда заехала?“. Широкая натура. Заботился о казаках, очень любили его.

После него Мазаровича назначили. Жестокий человек был. На смерть засекал казаков. Он до 56 года царствовал. Марка Васильевича — дядю — часто под арест сажал. Я ему на гауптвахту обед носил. Раз ночью Мазарович на караул поехал. На него шинели накинули, избили его. Это дядя мой устроил. Сказалась казацкая кровь. После него Голотевского назначили. После Корфа. А после Енисейский казачий полк был расформирован.¹⁰

А Василий Матвеевич¹¹ (он поэт был — «Синий ус» его звали), его на смотре начальник оскорбил, так он эполеты с себя сорвал и его по лицу отхлестал — ватрушками-то.

У деда, у Василия Ивановича, что в Туруханске умер, лошадь старая была, на которой он всегда на охоту ездил. И так уж приоровился — положит ей винтовку между ушей и стреляет. Охотник был хороший — никогда промаху не давал. Но стареть начал, так давно уже на охоту не ездил. Но вздумал раз оседлать коня. И он стар, и лошадь стара. Приложился, а конь-то и поведи ухом. В первый раз в жизни промах дал. Так он обозлился, что коню собственными зубами ухо откусил. Конь это — Карка, гнедой, огромный — после смерти его остался. Громадными правами гражданства пользовался. То в сусек забредет — весь в муке выйдет. А то в сени за хлебом придет. Это казацкая черта — любят коней. И хорошие кони у нас. У брата „Мишка“ был. Он-то уж за ним ходил — и чешет, и гладит. А меня раз на вожжах тащил на именинах брата. Брат его продал, а ночью он стучит: конюшню разломал и пришел».

Эта неудержимая и буйная кровь, не потерявшая своего казацкого хмеля со времен Ермака, текла в жилах Василия Ивановича. Она была наследием отцовской стороны. Со стороны же матери было глубокое и ясное затишье успокоенного семейного уклада старой Руси.

«Первое, что у меня в памяти осталось, — рассказывал он, — это наши поездки зимой в Торгошинскую станицу. Мать моя из Торгошиных была.¹² А Торгошины были торговыми казаками — извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались. Жили по ту сторону Енисея — перед тайгой. Старики неделеные жили. Семья была богатая. Старый дом помню. Двор мощеный

был. У нас тесанными бревнами дворы мостят. Там самый воздух казался стариинным. И иконы старые, и костюмы. И сестры мои двоюродные — девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В девушках была красота особенная: древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало. Трое их было — дочери дяди Степана — Таня, Фаля и Маша. Рукодельем они занимались: гарусом на пяльцах вышивали. Песни старинные пели тонкими, певучими голосами. Помню, как старики Феодор Егорыч и Матвей Егорыч подвечер на двор в халатах шелковых выйдут, гулять начнут и „Не белы снеги...“ поют. А дядя Степан Федорович с длинной черной бородой. Это он у меня в „Стрельцах“¹³ — тот, что, опустив голову, сидит, „как агнец жребию покорный“.

Там старина была. А у нас другое. Дом новый. Старый суриковский дом, вот о котором в Истории Красноярского бунта говорится, я в развалинах помню. Там уже не жил никто. Потом он во время большого пожара сгорел. А наш новый был — в тридцатых годах построенный. В то время дед еще сотником в Туруханске был. Там ясак собирали, нам присыпал. Дом наш соболями и рыбой строился. Тетка к нему ездила. Рассказывала потом про северное сияние. Солнце там, как медный шар. А как уезжала — дед ей полный подол соболей наклад. Я потом в тех краях сам был, когда остыков для „Ермака“ рисовал. Совсем северно. Совсем как американские индейцы. И повадка, и костюм. И татарские могильники со столбами — „курганами“ называются.

А первое мое воспоминание, это как из Красноярска в Торгошино через Енисей зимой с матерью ездили. Саны высокие. Мать не позволяла выглядывать. А все-таки через край посмотришь: глыбы ледяные столбами кругом стоямя стоят, точно дольмены. Енисей на себе сильно лед ломает, друг на друга их громоздит. Пока по льду едешь, то сани так с бугра на бугор и кидает. А станут ровно идти — значит, на берег выехали.

Вот на том берегу я в первый раз видел, как „Городок“ брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь черный прямо мимо меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался.¹⁴ Я потом много городков снежных видел. По обе стороны народ стоит, а посередине снежная стена. Лошадей от нее отпугивают криками и хвостинами бьют: чей конь первый сквозь снег прорвется. А потом приходят люди, что городок делали, денег просить: художники ведь. Там они и пушки ледяные, и зубцы — все сделают. А раньше, помню, мне мать на луну показывала — я глаза и рот различал.

В баню мать меня через двор на руках носила. А рядом у казака Шерлева медведь был на цепи. Он повалил забор и черный при луне на столбе сидит. Мать закричала и бежать».

Увлеченный воспоминаниями, Василий Иванович вытаскивает из крепкого кованого сундука, стоящего в темном углу комнаты, сундука, в котором у него хранятся все его рисунки, этюды, документы и фамиль-

ные воспоминания, несколько кусков шелковых тканей и показывает треугольный платок из парчевой материи — половину квадрата, разрезанного от угла до угла. Парча красновато-лиловая, с желтизной и золотым тканьем, и хранит жесткие, привычные складки, которыми ложилась вокруг лица.

«Этот платок бабушка моя на голове носила. Это его для двух сестер купили и пополам разрезали. Приданое моей матери все украли — только это осталось. В Сибири ведь разбои всегда. На ночь, как в крепость, запирались. Я помню, еще совсем маленьким был. Спать мы легли. Вся семья в одной постели спала. Я у отца всегда „на руке“ спал. Брат. Сестра. А старшая сестра, Елисавета, от первого брака, в ногах спала. Утром мать просыпается: „Что это, говорит, по ногам дует?“. Смотрим, а дверь разломана. Грабители, значит, через нашу комнату прошли. Ведь если бы кто из нас проснулся, так они бы всех нас убили. Но никто не проснулся, только сестра Елисавета помнит, что точно ей кто ночью на ногу наступил. И все приданое материно с собою унесли. Потом еще платки по дороге на заборе находили. Да матери венчальное платье на Енисее пузырем всплыло: его к берегу прибило. А остальное так и погибло».

Тут же он достает фотографию своей матери в гробу. Она лежит с лицом старой крестьянки, с головой, повязанной платком. Облик спокойный, благостный, сильный. В нем кованость и медный чекан. Морщины глубокие и прямые.

А Василий Иванович продолжает вспоминать о встречах с разбойниками: как рабочий ломился к ним пьяный в кухню — зарезать хотел, а она успела запереться и через окно позвать из казачьего приказа казаков.

«Мать моя удивительная была. Вот Вы ее портрет видели.¹⁵ У нее художественность в определениях была: посмотрит на человека и одним словом определит. Вина она никогда не пила, только на свадьбе своей губы в шампанском помочила. Очень смелая была. Женщину раз, мужеубийцу, к следователю привели. Она у нас в доме сидела. Матери ночью понадобилось в подвал пойти. Она всегда все сама делала: прислугу не держала. Говорит ей: я вот одна, пойдем, подсоби мне. Так вместе с ней одна в пустом доме в подвал пошла — и ничего.

А то я раз с матерью ехал, — из тайги вышел человек и заворотил лошадей в тайгу, молча. А потом мать слышит, он кучеру говорит: „Что ж, до вечера управимся с ними?“. Тут мать раскрыла руки и начала молить: „Возьмите все, что есть у нас, только не убивайте“. А в это время навстречу священник едет. Тот человек в красной рубахе соскочил с козел и в лес ушел. А священник нас повертил назад, и вместе с ним мы на ту станцию, откуда уехали, вернулись. А я только тогда проснулся, все время головой у матери на коленях спал, ничего не слыхал.

Семья у нас небогатая. „Суриковская заимка“ была с покосами. Отец умер рано, в 1859 году. Мне одиннадцать лет было. У него голос прекрасный был. Губернатор Енисейской губернии его очень любил и всюду с собой возил.¹⁶ У меня к музыке любовь от отца. Мать потом на его могилу ездила плакать. Меня с сестрой Катей брала. Причитала на могиле по-древнему. Мы ее все уговаривали, удерживали».

Наряду с этими впечатлениями незапамятной русской старины, обступившей детство Василия Ивановича, на эти далекие окраины истории доходили и вести современной жизни.

«Дядя Марк Васильевич и Иван — образованные были. Много книг выписывали. Журналы „Современник“ и „Новоселье“ получали.¹⁷ Я Мильтона „Потерянный Рай“ в детстве читал, Пушкина и Лермонтова. Лермонтова любил очень. Дядя Иван Васильевич на Кавказ одного из декабристов, переведенных, сопровождал, — вот у меня есть еще шашка, что тот ему подарил. Так он оттуда в восторге от Лермонтова вернулся. Снимки ассирийских памятников у них были. Я уж иногда в детстве страшную их оригинальность чувствовал. Помню, как отец говорил: вот Исаакиевский собор открыли. . . вот картину Иванова привезли. . .¹⁸

Дяди Марк Васильевич и Иван Васильевич оба молодыми умерли от чахотки. На парадах простудились. Времена были николаевские — при сорокаградусных-то морозах — в одних мундирчиках. А богатыри были. Непокорные. Когда после смерти дедушки другого атаманом назначили, им частенько приходилось на гауптвахте сидеть. Дядя Марк Васильевич — он уже болен был тогда — мне вслух „Юрия Милославского“ читал.¹⁹ Это первое литературное произведение, что в памяти осталось. Я, прижавшись к нему под руку, слушал. Так и помню, как он читал: невысокая комната с сальюю свечкой. И все мне представлялось, как Омляш²⁰ в окошко заглядывает. Умер он зимой, одиннадцатого декабря. Мы, дети, когда он в гробу лежал, ему усы закрутили, чтобы у него геройский вид был. Похороны его помню — лошадь его за гробом вели.

Мать моя декабристов видела: Бобрищева-Пушкина и Давыдова.²¹ Она всегда в старый собор ездила причащаться; они впереди всех в церкви стояли. Шинели с одного плеча спущены. И никогда не крестились. А во время ектений, когда Николая I поминали, демонстративно уходили из церкви. Я сам, когда мне было тринадцать лет, Петрашевского-Буташевича на улице видел. Полный, в цилиндре шел. Борода с проседью. Глаза выпуклые — огненные. Прямо очень держался. Я спросил — кто это? — Политический, — говорят. Его мономаном звали. Он присяжным поверенным в Красноярске был.²² Щапова тоже встречал, когда он приезжал материалы собирать».²³

Настоящее общение с природой началось для Сурикова лет с шести, когда его отца перевели в 1854 году в Бузимовскую станицу²⁴ в шестидесяти верстах от Красноярска к северу. «В Бузимове мне вольно было жить. Страна была неведомая. Степь не меренная. Ведь в Красноярске никто до железной дороги не знал, что там за горами. Торгошино было под горой. А что за горой — никто не знал. Было там еще за двадцать верст Свищово. В Свищове у меня родственники были. А за Свищовым пятьсот верст лесу до самой китайской границы. И медведей полно. До пятидесятих годов девятнадцатого столетия все было полно: реки — рыбой, леса — дичью, земля — золотом. Какие рыбы были! Осетры да стерляди в сажень. Помню — их привезут, так в дверях прямо,

как солдаты, стоят. Или я маленьким был, что они такими громадными казались... .

А Бузимо было к северу. Место степное. Село. Из Красноярска целый день лошадьми ехать. Окошки там еще слюдяные, песни, что в городе не услышишь. И масленичные гулянья и христославцы. У меня с тех пор прямо кульп предков остался. Брат до сих пор поминование обо всех умерших подает. В прощеное воскресенье мы приходили у матери прощенье на коленах просить. На рождество христославцы приходили. Иконы льняным маслом натирали, а ризы серебряные мелом. Мама мои чудно пирожки делала. Посты соблюдали. В банях парились. Прямо в снег высакивали. Во всех домах в Бузиме старые лубки висели — самые лучшие.

Верхом я ездил с семи лет. Пара у нас лошадок была: соловый и рыжий конь. Кони там степные — с большими головами — тарапаны. Помню, мне раз кушак новый подарили и шубку. Отъехал я, а конь все назад заворачивает; я его изо всех сил тяну. А была наледь. Конь поскользнулся и вместе со мной упал. Я прямо в воду. Мокрая вся шубка-то новая. Стыдно было домой возвращаться. Я к казакам пошел: там меня обсущили. А то раз я на лошади через забор скакал, конь копытом забор и задень. Я через голову и прямо на ноги стал, к нему лицом. Вот он удивился, думаю... . А то еще, тоже семи лет было, с мальчиками со скирды катались — да на свинью попали. Она гналась за нами. Одного мальчишку хватила. А я успел через поскотину перелезть. Бык тоже гнался за мной: я от него опять же за поскотину, да с яра, да прямо в реку — в Тубу. Собака на меня цепная бросилась: с цепи вдруг сорвалась. Но сама что ли удивилась: остановилась и хвостом вдруг завиляла. Мы мальчиками палы пускали — сухую траву поджигали. Раз летом пошли, помню, икону встречать — по дороге подожгли. Трава высокая. Так нас уже начали языки догонять. До телеграфных столбов дошло. Я на Енисее приток переплыval — не широкий, сажень пятьдесят. А у меня судорогой ногу свело. Но я умел плавать и столбиком, и на спине. Доплыл так. А охотиться я начал еще с кремневым ружьем. И в первый же раз на охоте птичку застрелил. Сидела она. Я прицелился. Она упала. И очень я возгордился. И раз от отца отстал. Подождал, пока он за деревьями мелькает, и один остался в лесу. Иду. Вышел на опушку. А дом наш бузимовский на юру, как фонарь, стоит. А отец с матерью смотрят — меня ищут. Я не успел спрятаться — увидали меня. Отец меня драть хотел: тянет к себе, а мать к себе. Так и отстояла меня.

В школу — в приходское училище — меня восьми лет отдали, в Красноярск. Я оттуда домой в Бузимо только приезжал. Интересное тут со мной событие случилось, вот я Вам расскажу. В приходском училище меня из высшего класса в низший перевели. Товарищи очень смеялись. Я ничего не знал. А потом с первого класса²⁵ я начал прекрасно учиться.

Пошел я в училище. А мать пред тем приезжала — мне рубль пятаками дала. В училище мне идти не захотелось. А тут дорога разветвляется по Каче. Я и пошел по дороге в Бузимо. Вышел в поле. Пастухи вдали.

Я верст шесть прошел. Потом лег на землю, стал слушать, как в „Юрии Милославском“, нет ли за мной погони. Вдруг вижу, вдали — пыль. Глядь — наши лошади. Мать едет. Я от них от дороги свернул — прямо в поле. Остановили лошадей. Мать кричит: „Стой! Стой! Да никак ведь это наш Вася!“. А на мне такая маленькая шапочка была — монашеская. „Ты куда?“. И отвезли меня назад в училище».

Наряду с этими впечатлениями вольного детства среди вольной природы в жизнь врывались суровые впечатления быта и нравов XVII века. «Мощные люди были. Сильные духом. Размах во всем был широкий, — рассказывал Василий Иванович. — А нравы жестокие были. Казни и телесные наказания на площадях публично происходили. Эшафот недалеко от училища был. Там на кобыле наказывали плетьми. Бывало, идем мы, дети, из училища. Кричат: „Везут! везут!“. Мы все на площадь бежим за колесницей. Палачей дети любили. Мы на палачей, как на героев, смотрели. По именам их знали: какой Мишка, какой Сашка. Рубахи у них красные, порты широкие. Они перед толпой по эшафоту похаживали, плечи расправляли. Геройство было в размахе. Вот я Лермонтова понимаю. Помните, как у него о палаче: „Палач весело похаживает...“.²⁶ Мы на них с удивлением смотрели — необыкновенные люди какие-то.

Вот теперь скажут — воспитание! А ведь это укрепляло. И принималось только то, что хорошо. Меня всегда красота в этом поражала, — сила. Черный эшафот, красная рубаха — красота! И преступники так относились: сделал, — значит, расплачиваться надо. И сила какая бывала у людей: сто плетей выдерживали, не крикнув. И ужаса никакого не было. Скорее восторг. Нервы все выдерживали.

Помню, одного драли; он точно мученик стоял: не крикнул ни разу. А мы все — мальчишки — на заборе сидели. Сперва тело красное стало, а потом синее: одна венозная кровь текла. Спирт им нюхать дают. А один татарин храбрился, а после второй плети начал кричать. Народ смеялся очень. Женщину одну, помню, драли — она мужа своего, извозчика, убила. Она думала, что ее в юбках дратъ будут. На себя много навертела. Так с нее палачи как юбки сорвали — они по воздуху, как голуби, полетели. А она точно кошка кричала — весь народ хохотал. А то еще одного за троеженство клеймили, а он все кричал: „Да за что же?“.

Смертную казнь я два раза видел. Раз трех мужиков за поджог казнили. Один высокий парень был, вроде Шаляпина, другой старик. Их на телегах в белых рубахах привезли. Женщины лезут — плачут, — родственницы их. Я близко стоял. Дали залп. На рубахах красные пятна появились. Два упали. А парень стоит. Потом и он упал. А потом, вдруг вижу, подымается. Еще дали залп. И опять подымается. Такой ужас, я Вам скажу. Потом один офицер подошел, приставил револьвер, убил его. Вот у Толстого, помните, описание, как поджигателей в Москве расстреливали? Там у одного, когда в яму свалили, плечо шевелилось.²⁷ Я его спрашивал: „Вы это видели, Лев Николаевич?“. Говорит: „По рас-

сказам“. Только, я думаю, видел: не такой человек был. Это он скрывал. Наверное, видел.

А другой раз я видел, как поляка казнили — Флерковского.²⁸ Он во время переклички ножом офицера пырнул. Военное время было. Его приговорили. Мы, мальчишки, за телегой бежали.

Его далеко за город везли. Он бледный вышел. Все кричал: „Делайте то же, что я сделал“. Рубашку поправил. Ему умирать, а он рубашку поправляет. У меня прямо земля под ногами поплыла, как залп дали.

Жестокая жизнь в Сибири была. Совсем XVII век. Кулачные бои помню. На Енисее зимой устраивались. И мы мальчишками дрались. Уездное и духовное училища были в городе, так между ними антагонизм был постоянный. Мы всегда себе Фермопильское ущелье представляли: спартанцев и персов. Я Леонидом Спартанским всегда был.

Мальчиком постарше я покучивал с товарищами. И водку тогда пил. Раз шестнадцать стаканов выпил. И ничего. Весело только стало. Помню, как домой вернулся, мать меня со свечами встретила.

Двух товарищей моих в то время убили. Был товарищ у меня — Митя Бурдин. Едет он на дрожках. Как раз против нашего дома лошадь у него распряглась. Я говорю: „Митя, зайди чаю напиться“. Говорит — некогда. Это шестого октября было. А седьмого земля мерзлая была. Народ бежит, кричат: „Бурдина убили“. Я побежал с другими. Вижу, лежит он на земле голый. Красивое, мускулистое у него тело было. И рана на голове. Помню, подумал тогда: вот если Дмитрия Царевича писать буду — его так напишу.

Его казак Шаповалов убил. У женщин они были. Тот его и заревновал. Помню, как на допрос его привели. Сидел он так, опустив голову. Мать его и спрашивает: „Что ж это ты наделал?“ — Видно, говорит, черт попутал. — У нас совсем по-иному к арестантам относились.

А другой у меня был товарищ — Петя Чернов. Мы с ним франты были. Шелковые шаровары носили, поддевки, шапочки ямщицкие и кушаки шелковые. Оба кудрявые. Веселая жизнь была. Маскировались мы. Я тройкой правил, колокольцы у нас еще валдайские сохранились — с серебром. Заходит он в первый день пасхи. Лед еще не тронулся. Говорит: „Пойдем на Енисей в проруби рыбу ловить“. — Что ты? в первый-то день праздника? — И не пошел. А потом слышу: Петю Чернова убили. Поссорились они. Его бутылкой по голове убили и под лед спустили. Я потом его в анатомическом театре видел: распух весь, и волосы совсем слезли — голый череп.

Широкая жизнь была. Рассказы разные ходили. Священника раз вывезли за город и раздели. Говорили, что это демоны его за святую жизнь мучили. Разбойник под городом в лесу жил. Вроде как бы Соловья-разбойника».

О начале своей живописи Василий Иванович рассказывал так: «Рисовать я с самого детства начал. Еще, помню, совсем маленьким был, на стульях сафьяновых рисовал — пачкал. Из дядей моих один рисовал —

Хозяинов.²⁹ Мать моя не рисовала. Но раз нужно было казачью шапку старую объяснить. Так она неуверенно карандашом нарисовала: я сейчас же ее увидел. Комнаты у нас в доме были большие и низкие. Мне, маленькому, фигуры казались громадными. Я потому всегда старался или горизонт очень низко поместить, или фону сделать поменьше, чтобы фигура больше казалась.

Главное, я красоту любил. Во всем красоту. В лица с детства еще взглядался, как глаза расставлены, как черты лица составляются. Мне шесть лет, помню, было — я Петра Великого с черной гравюры рисовал. А краски от себя: мундир синькой, а отвороты брусникой. В детстве я все лошадок рисовал, как все мальчики. Только ноги у меня не выходили. А у нас в Бузиме был работник Семен, простой мужик. Он меня научил ноги рисовать. Он их начал мне по суставам рисовать. Вижу, гнутся у его коней ноги. А у меня никак не выходило, это у него анатомия, значит.

У нас в доме изображение иконы Казанского собора работы Шебуева висело. Так я целыми часами на него смотрел. Вот, как тут рука ладонью с боку лепится. Когда я в красноярском уездном училище учился, там учитель рисования был — Гребнев.³⁰ Он из Академии был. У нас иконы на заказ писал. Так вот, Гребнев меня учил рисовать. Чуть не плакал надо мною. О Брюллове мне рассказывал. Об Айвазовском, как тот воду пишет, — что совсем как живая; как формы облаков знает. Воздух — благоухание.

Гребнев брал меня с собою и акварельными красками заставлял сверху холма город рисовать. Плен-эр, значит. Мне одиннадцать лет тогда было. Приносил гравюры, чтобы я с оригинала рисовал: „Благовещение“ Боровиковского, „Ангел молитвы“ Неффа, рисунки Рафаэля и Тициана. У меня много этих рисунков было. Все в Академии пропали. Теперь только три остались. А вспоминаю, дивные рисунки были. Так тонко сделаны. Я помню, как рисовал, не выходило все. Я плакать начинал, а сестра Катя утешала: „Ничего, выйдет!“. Я еще раз начинал, и ведь выходило. Вот, посмотрите-ка. Это все я с черных гравюр, а ведь краски-то мои. Я потом в Петербурге смотрел: ведь похоже — угадал. Ведь как эти складки тонко здесь сделаны. И ручка. Очень мне эта ручка нравилась — так тонко лепится. Я очень красоту композиции любил. И в картинах старых мастеров больше всего композицию чувствовал. А потом начал ее и в природе всюду видеть. Когда меня губернатор Замятин³¹ хотел в Академию определить, я все эти рисунки собрал; их туда отправили. А ответ пришел: если хочет ехать на свой счет — пусть едет, а мы его на казенный счет не берем. А потом, когда я в Петербург уже приехал, меня спрашивал инспектор Шренцер:³² „А где же Ваши рисунки?“. Нашел папку, перелистал. „Это? — говорит — да за такие рисунки Вам даже мимо Академии надо запретить ходить“. Все эти рисунки так у него и пропали.

Я в Красноярске в детстве и масляные картины видел. У Атаманских в дому³³ были масляные картины в старинных рамках. Одна была: рыцарь умирающий, а дама ему платком рану затыкает. И два портрета генерал-губернаторов: Лавинского и Степанова.³⁴

А потом у крестной, у Ольги Матвеевны Дурандиной, у которой я жил, пока в училище был,³⁵ когда наши еще в Бузиме жили; у нее тоже большие масляные картины были; одна саженная, и фигуры до колен: старик Ной благословляет Иафета и Сима — тоже старики, а Хам черный — в стороне стоит. А на другой — Давид с головой Голиафа. Картины эти — кисти Хозяинова, одного из родственников, были.

Я вот Вам еще один случай расскажу. Там в Сибири у нас такие проходимцы бывают. Появится неизвестно откуда, потом уедет. Вот один такой на лошади проезжал. Прекрасная у него была лошадь — Васька. А я сидел, рисовал. Предлагает: „Хочешь покататься? Садись“. Я на его лошади и катался. А раз он приходит — говорит: „Можешь икону написать?“. У него, верно, заказ был. А сам-то он рисовать не умеет. Приносит он большую доску разграфленную. Достали мы красок. Немного: краски четыре. Красную, синюю, черную да белила. Стал я писать „Богородичные праздники“. Как написал, понесли ее в церковь — святить. У меня в тот день сильно зубы болели. Но я все-таки побежал смотреть. Несут ее на руках. Она такая большая. А народ на нее крестится: ведь икона, и освященная. И под икону ныряют, как под чудотворную. А когда ее святали, священник, отец Василий, спросил: „Это кто же писал?“. Я тут не выдержал: „Я“, — говорю. — „Ну, так впредь икон никогда не пиши“.

А потом, когда я в Сибирь приезжал, я ведь ее видел. Брат говорит: „А ведь икона твоя все у того купца. Пойдем смотреть“. Оседлали коней и поехали. Посмотрел я на икону: так и горит. Краски полные, цельные: большими синими и красными пятнами. Очень хорошо. Ее у купца хотел красноярский музей купить. Ведь не продал. Говорит: „Вот я ее поновлю, так еще лучше будет“. Так меня прямо тоска взяла.

После окончания уездного училища поступил я в четвертый класс гимназии — тогда в Красноярске открылась. Но курса не кончил. Средств у нас не было, пришлось из седьмого класса уйти.³⁶ Подрабатывать приходилось. Яйца пасхальные я рисовал по три рубля за сотню. Помню, журналы тогда все смотрел художественные. Тогда журнал издавался „Северное сияние“. А раньше еще „Художественный листок“ Тимма.³⁷ Это еще во время Крымской войны. Пушка одна меня, помню, очень поразила — огнем полыхает.

Очень я по искусству тосковал. Мать какая у меня была: видит, что я плачу, — горел я тогда, — так решили, что я пойду пешком в Петербург. Мы вместе с матерью план составили. Пойду я с обозами — она мне тридцать рублей на дорогу давала. Так и решили.

А раз пошел я в собор, — ничего ведь я и не знал, что Кузнецов обо мне знает,³⁸ — он ко мне в церкви подходит и говорит: „Я твои рисунки знаю и в Петербург тебя беру“. Я к матери побежал. Говорит: „Ступай. Я тебе не запрещаю“. Я через три дня уехал. Одиннадцатого декабря 1868 года. Морозная ночь была. Звездная. Так и помню улицу, и мать темной фигурой у ворот стоит. Кузнецов — золотопромышленник был. Он меня перед отправкой к себе повел, картины показывал. А у него тогда был Брюллова — портрет его деда. Мне уж тогда те картины нравились, которые не гладкие. А Кузнецов говорит: „Что ж, те лучше“.

Кузнецов рыбу в Петербург посыпал — в подарок министрам. Я с обозом и поехал. Огромных рыб везли: я на верху воза на большом осетре сидел. В тулупчике мне холодно было. Коченел весь. Вечером, как приедешь, пока еще отогреешься; водки мне дадут. Потом в пути я себе доху купил.

Барабинская степь пошла. Едут там с одного извозчичьего двора до другого. Когда запрягают, то ворота на запор. Готово? Ворота настежь. Лошади так и вылетят. В снежном клубе мчатся. И вот еще было у меня приключение. Может, не стоило бы рассказывать... Да нет — расскажу. Подъезжали мы уже к станции. Большое село сибирское — у реки внизу. Огоньки уже горят. Спуск был крутой. Я говорю: надо лошадей сдержать. Мы с товарищами подхватили пристяжных, а кучер коренника. Да какой тут! Влетели в село. Коренник что ли неловко повернул, только мы на всем скаку вольт сделали прямо в обратную сторону: все так и посыпались. Так я... Там, знаете, окошки пузырные — из бычьего пузыря делаются... Так я прямо головой в такое окошко угодил. Как был в дохе — так прямо внутрь избы влетел. Старушка там стояла — молилась. Она меня за черта, что ли, приняла, — как закрестится. А ведь не попади я головой в окно, наверное бы на смерть убился. И рыба вся рассыпалась. Толпа собралась, подбирать помогали. Собрали все. Там народ честный.

До самого Нижнего мы на лошадях ехали — четыре с половиной тысячи верст. Там я доху продал. Оттуда уже железная дорога была. В Москве я только один день провел: соборы видел. А 19 февраля 1869 года мы приехали в Петербург. На Владимирском остановились, на углу Невского. В гостинице „Родина“.

Приехал я в Академию в феврале. Я уже Вам рассказывал, как инспектор Шренцер посмотрел мои рисунки и сказал: „Да Вас за такие рисунки и мимо Академии пускать не следует“.

А в апреле — экзамен. Помню мы с Зайцевым — он архитектором после был — гипс рисовали. Академик Бруни не велел меня в Академию принимать. Помню — вышел я. Хороший весенний день был. На душе было радостно. Рисунок я свой разорвал и по Неве пустил.

Поступил я тогда в школу Поощрения, к художнику Диаконову,³⁹ и три месяца гипсы рисовал. И научился во всевозможных ракурсах: нарочно самые трудные выбирал. За эти три месяца я три года курса прошел и осенью прямо в головной класс экзамены выдержал. Там еще композиции не подавались. А я слышал, какие в натурном задаются, и тоже подавал. Пять лет я пробыл в Академии. И научные классы прошел. Горностаев по истории искусств читал. Мы очень любили его слушать. Прекрасный рисовальщик был: нарисует фигуру одной линией: Аполлона или Фавна — мы ее целую неделю с доски не стирали. Я в Академии больше всего композицией занимался. Меня там „композитором“ звали. Я все естественность и красоту композиции изучал. Дома сам себе задачи давал и разрешал. Образцов никаких не признавал — все сам. А в живописи только колоритную сторону изучал. Павел Петрович Чистяков

очень развивал меня. Я это еще и в Сибири любил, а здесь он мне указал путь истинного колорита.

Я ведь со страшной жадностью к знаниям приехал. В Академии классов не пропускал. А на улицах всегда группировку людей наблюдал. Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в натуре. Ведь этого никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить. Страшно я ракурсы любил. Всегда старался дать все в ракурсах. Они очень большую красоту композиции придают. Даже смеялись товарищи надо мной. Но рисунок у меня был нестрогий — всегда подчинялся колоритным задачам. Кроме меня, в Академии только у единственного ученика — у Лучшева — колоритные задачи были. Он сын кузнеца был. Мало развитой человек. Многое усвоить себе не мог. И умер рано...

А профессора... Нефф и по-русски-то плохо говорил. Шамшин все говорил: „Поковыряйте в носу. Покопайте-ка в ухе“. Первая моя композиция в Академии была, — как убили Дмитрия Самозванца. Но больше всего мне классические композиции дались. За „Пир Валтасара“, как к нему пророк Даниил приходит, я первую премию получил. Она в „Иллюстрации“ воспроизведена была.⁴⁰ Она в Академии хранится, слава богу, еще не украли.

В 69 году я, значит, поступил в Академию осенью. Так Петербурга и не покидал. После летами жил у товарища на Черной речке.

В 73 году я получил четыре серебряные медали, в 74-м научные курсы кончил.⁴¹ Конкурировал я на малую золотую медаль „Милосердным самаритянином“ и получил. Потом я ее Кузнецовой в благодарность подарил. Она теперь в красноярском музее висит.

А первая моя собственная картина была: памятник Петра I при лунном освещении. Я долго ходил на Сенатскую площадь — наблюдал. Там фонари тогда рядом горели, и на лошади блики. Ее Кузнецов тогда же купил. Она тоже в музее красноярском теперь.

Пока я в Петербурге был, мне Кузнецов стипендию выдавал до самого конца. И премии еще брал всегда на конкурсах: то сто, то пятьдесят рублей. Так что в деньгах я не нуждался и ни от брата, ни от матери ничего не получал.

Петербург мне очень плох для здоровья был: грудная у меня болезнь началась было. Но в 73 году я на лето в Сибирь поехал: Кузнецов меня в свое имение в Минусинскую степь на промыслы позвал. Все лето я там пробыл и совсем поправился.

В семьдесят пятом я написал Апостола Павла перед судом Ирода Антипы на большую золотую медаль. Медаль-то мне присудили, а денег не дали.⁴² Там деньги разграбили, а потом казначея Исеева судили и в Сибирь сослали.⁴³ А для того чтобы меня за границу послать, как полагалось, денег и не хватило. И славу богу! Ведь у меня какая мысль была: Клеопатру Египетскую написать.⁴⁴ Ведь что бы со мной было!

Но классике я все-таки очень благодарен. Мне она очень полезна была и в техническом смысле, и в колорите, и в композиции.

Так мне вместо заграницы предложили работу в храме Спасителя в Москве. Я там первые четыре вселенских собора написал.⁴⁵

Работать для храма Спасителя было трудно. Я хотел туда живых лиц ввести. Греков искал. Но мне сказали: если так будете писать — нам не нужно. Ну, я уж писал так, как требовали. Мне нужно было денег, чтобы стать свободным и начать свое».

С окончанием Академии кончается личная биография Сурикова, и начинается творчество. Кровь старых бунтовщиков, покоривших Сибирь вместе с Ермаком, отстоенная в умиротворенном быту старой Руси, исключительно здоровое детство, обставленное суровыми, трагическими и кровавыми впечатлениями природы и человеческой жизни, глубоко потрясавшими детскую душу, но не осложнявшимися никакими личными катастрофами, образовали в нем сосредоточенный и мощный заряд огромной творческой силы.

Академия плохо или хорошо, насколько это было в ее возможностях, научила его связной художественной речи.

Теперь нужно было только огниво, чтобы зажечь горючие материалы, скопившиеся в душе.

Огнивом этим была Москва.

«Я как в Москву приехал, — рассказывал Василий Иванович, — прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись.

Я в Петербурге еще решил „Стрельцов“ писать. Задумал я их, еще когда в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидел. Памятники, площади — они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления.

Я на памятники, как на живых людей смотрел, — расспрашивал их: „Вы видели, вы слышали, — вы свидетели“. Только они не словами говорят. Я вот Вам в пример скажу: верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано.⁴⁶ А вот у Пушкина — не верю: очень у него красиво — точно сказка. А памятники все сами видели: и царей в одеждах, и царевен — живые свидетели. Стены я допрашивал, а не книги. В Лувре, вон, быки ассирийские стоят. Я на них смотрел, и не быки меня поражали, а то, что у них копыта стерты — значит, люди здесь ходили. Вот что меня поражает. Я в Риме в Соборе Петра в Петров день был. На колени стал над его гробницей и думал: „Вот они здесь лежат — исторические кости: весь мир об нем думает, а он здесь — тронуть можно“.

Как я на Красную площадь пришел — все это у меня с сибирскими воспоминаниями связалось.

Когда я их задумал, у меня все лица сразу так и возникли. И цветовая раскраска вместе с композицией. Я ведь живу от самого холста: из него все возникает. Помните, там у меня стрелец с черной бородой — это Степан Федорович Торгошин, брат моей матери. А бабы — это, знаете ли, у меня и в родне были такие старушки. Сарафанницы, хоть и казачки. А старик в „Стрельцах“ — это ссылочный один, лет семидесяти. Помню, шел, мешок нес, раскачивался от слабости — и народу кланялся.

А рыжий стрелец — это могильщик, на кладбище я его увидал. Я ему говорю: „Поедем ко мне — попозирай“. Он уже занес было ногу в сани, да товарищи стали смеяться. Он говорит: „Не хочу“. И по характеру ведь такой, как стрелец. Глаза глубоко сидящие меня поразили. Злой, непокорный тип. Кузьмой звали. Случайность: на ловца и зверь бежит. Насилу его уговорил. Он, как позировал, спрашивал: „Что, мне голову рубить будут, что ли?“. А меня чувство деликатности останавливало говорить тем, с кого я писал, что я казнь пишу.

В Москве очень меня соборы поразили. Особенно Василий Блаженный: все он мне кровавым казался. Этюд я с него писал.

И телеги еще все рисовал. Очень я любил все деревянные принадлежности рисовать: дуги, оглобли, колеса, как что с чем связано. Все для телег, в которых стрельцов привезли. Петр-то ведь тут между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: „Отодвинься-ка, царь, — здесь мое место“. Я все народ себе представлял, как он волнуется. „Подобно шуму вод многих“. Петр у меня с портрета заграничного путешествия написан, а костюм я у Корба взял.⁴⁷

Я когда „Стрельцов“ писал — ужаснейшие сны видел: каждую ночь во сне казни видел. Кровью кругом пахнет. Боялся я ночей. Проснешься и обрадуешься. Посмотришь на картину. Слава богу, никакого этого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем было. Все боялся, не пробужу ли в зрителе неприятного чувства. Я сам-то свят, — а вот другие. . . У меня в картине крови не изображено, и казнь еще не начиналась. А я ведь это все — и кровь, и казни в себе переживал. „Утро стрелецких казней“: хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь.

Помню, „Стрельцов“ я уже кончил почти. Приезжает Илья Ефимович Репин посмотреть и говорит: „Что же это у Вас ни одного казненного нет? Вы бы вот здесь хоть на виселице, на правом плане, повесили бы“.

Как он уехал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что нельзя, а хотелось знать, что получилось бы. Я и пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз нянька в комнату вошла, — как увидела, так без чувств и грохнулась.

Еще в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал: „Что Вы, картину всю испортить хотите?“ — Да, чтобы я, говорю, так свою душу продал!. . Да разве так можно? Вон у Репина на „Иоанне Грозном“⁴⁸ сгусток крови, черный, липкий. . . Разве это так бывает? Ведь это он только для страха. Она ведь широкой струей течет — алой, светлой. Это только через час так застыть может.

А Вы знаете, Иоанна-то Грозного я раз видел настоящего: ночью в Москве на Зубовском бульваре в 1897 году встретил. Идет сгорбленный, в лисьей шубе, в шапке меховой, с палкой. Отхаркивается, на меня так воззрился боком. Бородка с сединой, глаза с жилками, не свирепые, а только проницательные и умные. Пил, верно, много. Совсем Иоанн. Я его вот таким вижу. Подумал: если б писал его — непременно таким бы написал. Но не хотелось тогда писать — Репин уже написал.

А дуги-то, телеги для „Стрельцов“ — это я по рынкам писал. Пишешь и думаешь — это самое важное во всей картине. На колесах-то — грязь. Раньше-то Москва немощеная была — грязь была черная. Кое-где прилипнет, а рядом серебром блестит чистое железо. И вот среди всех драм, что я писал, я эти детали любил. Никогда не было желания потрясти.

Всюду красоту любил. Когда я телегу видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться. В дровнях-то какая красота: в копылках, в вязах, в саноотводах. А в изгибах полозьев, как они колышатся и блестят, как кованые. Я, бывало, мальчиком еще, — переверну санки и рассматриваю, как это полозья блестят, какие извины у них. Ведь русские дровни воспеть нужно! . . .».

«„Стрельцы“ у меня в 1878 году начаты были, а закончены в восемьдесят первом. В восемьдесят первом поехал я жить в деревню — в Перерву. В избушке нищенской. И жена с детьми. (Женился я в 1878 году. Мать жены была Свистунова — декабриста дочь.⁴⁹ А отец — француз). В избушке тесно было. И выйти нельзя — дожди.

Здесь вот все мне и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? И поехал я это раз в Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг. . . — Меншиков! Сразу всю картину увидал. Весь узел композиции. Я и о покупках забыл. Сейчас кинулся назад в Перерву. Потом ездил в имение Меншикова в Клинском уезде. Нашел бюст его. Мне маску сняли. Я с нее писал.

А потом нашел еще учителя-старика — Невенгловского;⁵⁰ он мне позировал. Раз по Пречистенскому бульвару идет, вижу, Меншиков. Я за ним: квартиру запомнить. Учителем был математики Первой гимназии. В отставке. В первый раз и не пустил меня совсем. А во второй раз пустил. Позволил рисовать. На антресолях у него писал. В халате, перстень у него на руке, небритый — совсем Меншиков. „Кого Вы с меня писать будете?“ — спрашивает. Думаю: еще обидится — говорю: „Суворова с Вас рисовать буду“. Писатель Михеев потом из этого целый роман сделал.⁵¹ А Меншикову я с жены покойной писал.⁵² А другую дочь — с барышни одной. Сына писал в Москве с одного молодого человека — Шмировина сына.⁵³

В 1883 году картину выставил».

«„Боярыню Морозову“ я задумал еще раньше „Меншикова“ — сейчас после „Стрельцов“. Но потом, чтобы отдохнуть, „Меншикова“ начал.

Но первый эскиз „Морозовой“ еще в 1881 году сделал, а писать начал в восемьдесят четвертом, а выставил в восемьдесят седьмом. Я на третьем холсте написал. Первый был совсем мал. А этот я из Парижа выписал.

Три года для нее материал собирали. В типе боярыни Морозовой — тут тетка одна моя Авдотья Васильевна, что была за дядей Степан Феодо-

ровичем, стрельцом-то с черной бородой. Она к старой вере стала склоняться. Мать моя, помню, все возмущалась: все у нее странники да богомолки. Она мне по типу Настасью Филипповну из Достоевского напоминала. В Третьяковке этот этюд,⁵⁴ как я ее написал.

Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как ни напишу ее лицо — толпа бьет. Очень трудно ее лицо было найти. Ведь сколько времени я его искал. Все лицо мелко было. В толпе терялось.

В селе Преображенском, на старообрядческом кладбище — ведь вот где ее нашел.

Была у меня одна знакомая старушка — Степанида Варфоломеевна, из старообрядок. Они в Медвежьем переулке жили — у них молитвенный дом там был. А потом их на Преображенское кладбище выселили. Там в Преображенском все меня знали. Даже старушки мне себя рисовать позволяли и девушки-начетчицы. Нравилось им, что я казак и не курю.

И вот приехала к ним начетчица с Урала — Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике, в два часа. И как вставил ее в картину — она всех победила.

„Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на врагов, как лев“...⁵⁵

Это протопоп Аввакум сказал про Морозову, и больше про нее ничего нет. А священника у меня в толпе помните? Это целый тип у меня создан. Это когда меня из Бузима еще учиться посыпали, раз я с дьячком ехал — Варсонофием,⁵⁶ — мне восемь лет было. У него тут косички подвязаны. Въезжаем мы в село Погорелое. Он говорит: „Ты, Вася, подержи лошадей, я зайду в Капернаум“. Купил он себе зеленый штоф и там уже клюкнул.

„Ну, говорит, Вася, ты правъ“. Я дорогу знал. А он сел на грядку, ноги свесил. Отопьет из штофа и на свет посмотрит. Точно вот у Пушкина в „Сцене в корчме“.⁵⁷ Как он русский народ знал!

И песню еще дьячок Варсонофий пел. Я и слова все до сих пор еще помню.

Монах снова испугался

(так и начиналось),

В свою келью отправлялся—
Ризу надевал.
Большую книгу в руки брал,
Очки чоправлял

(он очки пел, а не очки).

Бросил книгу и очки,
Разорвал ризу в клочки.
Сам пошел плясать.
Наплясался да доволи,
Захотел он доброй воли,
Вышел на крыльдо.

Стукнул, брякнул во кольцо —
 Ворон конь бежит.
 На коня монах садился,
 Под монахом конь бодрился,
 В зеленых лугах.
 Во зеленых во лужочках
 Ходят девушки кружочком.
 Девиц не нашел.
 К честной девушке зашел.
 Тут и лягу спать.
 На полу монах ложился —
 На перине очутился:
 Видит, что беда.
 Что она ни вынимала,
 Все монаху было мало.
 Съел корову, да быка,
 Да ребенка тредьяка... .

А дальше не помню — все у него тут путалось. Так всю дорогу пел. Да в штоф все смотрел. Не закусывая пил. Только утром его привез в Красноярск. Всю ночь так ехали. А дорога опасная — горные спуски. А утром в городе на нас люди смотрят — смеются.

А юродивого я на толкучке нашел. Огурцами он там торговал. Вижу — он. Такой вот череп у таких людей бывает.

Я говорю — идем. Еле уговорил его. Идет он за мной, все через тумбы перескакивает. Я оглядываюсь, а он качает головой — ничего, мол, не обману.

В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер. Алкоголики ведь они все. Он в одной холщевой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели. Я ему три рубля дал. Это для него большие деньги были. А он первым делом лихача за рубль семьдесят пять копеек нанял. Вот какой человек был. Икона у меня была нарисована, так он все на нее крестился, говорил: „Теперь я всей толкучке расскажу, какие иконы бывают“.

Так на снегу его и писал. На снегу писать — все иное получается. Вон пишут на снегу силуэтами. А на снегу все пропитано светом. Все в рефлексах лиловых и розовых, вон как одежда боярыни Морозовой — верхняя, черная; и рубаха в толпе. Все плен-эр. Я с 1878 года уже плен-эристом стал: „Стрельцов“ тоже на воздухе писал.

Все с натуры писал: и сани, и дровни. Мы на Долгоруковской жили. (Тогда ее еще Новой Слободой звали). У Подвисков в доме Збук.

Там в переулке всегда были глубокие сугробы, и ухабы, и розвальней много. Я все за розвальнями ходил, смотрел, как они след оставляют, на раскатах особенно.

Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе на розвальнях проехать, чтобы снег развалило, а потом начнешь колею писать.

И чувствуешь здесь всю бедность красок.

И переулки все искал, смотрел; и крыши где высокие. А церковь-то в глубине картины — это Николы, что на Долгоруковской.⁵⁸

Самую картину я начал в 1885 году писать; в Мытищах жил — последняя избушка с краю. И тут я штрихи ловил. Помните посох-то, что у странника в руках. Это богомолка одна проходила мимо с этим посохом. Я схватил акварель да за ней. А она уже отошла. Кричу ей: „Бабушка! Бабушка! Дай посох!“. Она и посох-то бросила — думала, разбойник я.

Девушку в толпе, это я со Сперанской писал — она тогда в монашки готовилась. А те, что кланяются, — все старообрядочки с Преображенского.

В восемьдесят седьмом я „Морозову“ выставил.⁵⁹ Помню, на выставке был. Мне говорят: „Стасов Вас ищет“.

И бросился это он меня обнимать при всей публике. . . Прямо скандал. „Что Вы, говорит, со мной сделали?“. Плачет ведь — со слезами на глазах. А я ему говорю: „Да что Вы меня-то. . . (уж не знаю, что делать, неловко) — вот ведь здесь «Грешница» Поленова“. А Поленов-то ведь тут — за перегородкой стоит. А он громко говорит: „Что Поленов. . . дермо написал“. Я ему: „Что Вы, ведь услышит“. . .

А Поленов-то ведь письма мне писал — направить все хотел. — „Вы вот декабристов напишите“. Только я думаю про себя: нет уж, ничего этого я писать не буду.

Император Александр III на выставке был. Подошел к картине. „А, это юродивый!“ — говорит. Все по лицам разобрал. А у меня горло от волнения ссохлось: не мог говорить. А другие-то, как лягавые псы кругом.

Я на Александра Третьего смотрю как на истинного представителя народа.⁶⁰ Никогда не забуду, как во время коронации мы стояли вместе с Боголюбовым.⁶¹ Нас в одной из зал дворца поставили. Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг мимо меня: громадный, — я ему по плечо был; в мантии, и выше всех головой. Идет, и ногами так сзади мантию откидывает. Так и остались в глазах плечи сзади. Грандиозное что-то в нем было. Я государыни и не заметил с ним рядом.

А памятник этот новый у храма Христа Спасителя — никуда не годится. Опекушин совсем не понял его.⁶² Я ведь помню. Лоб у него был другой, и корона иначе сидела. А у него на памятнике корона приземистая какая-то, и сапоги солдатские. Ничего этого не было».

«Через год после того как я „Морозову“ выставил, жена умерла. В 1888 году, седьмого апреля.⁶³

После смерти жены я „Исцеление слепорожденного“ написал. Лично для себя написал. Не выставлял. А потом в том же году уехал в Сибирь. Встряхнулся. И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел. У меня всегда такие скачки к жизнерадостности бывали. Написал я тогда бытовую картину — „Городок берут“.

К воспоминаниям детства вернулся, как мы зимой через Енисей в Торгошино ездили. Там в санях — справа мой брат Александр сидит.⁶⁴ Необычайную силу духа я тогда из Сибири привез.

В 1891 году начал я „Покорение Сибири“ писать. По всей Сибири ездил — материалы собирая. По Оби этюды делал. К 95-му году кончил и выставил, а в том же году начал „Суворова“ писать. Случайно попал к столетию в 1899 году.⁶⁵ В девяносто восьмом ездил в Швейцарию этюды писать.⁶⁶

С девятисотого начал для „Стеньки Разина“ собирать материалы, а выставил в девяносто седьмом. В самую Революцию попало. В Сибирь и на Дон для него ездил.

С 1908 году „Посещение царевны“ писал. Выставил в 1913 году. Суворов у меня с одного казачьего офицера написан. Он и теперь жив еще: ему под девяносто лет. Но главное в картине — движение. Храбрость беззаветная — покорные слову Полководца, идут.

Толстой очень против был. А когда „Ермака“ увидел, — говорит: „Это потому, что Вы поверили, оно и производит впечатление“.

А я ведь летописи и не читал. Она сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать, — вижу, совсем, как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие. И теперь ведь, как на пароходе едешь, — вдруг всадник на обрыв выскочит: дым, значит, увидал. Любопытство.

В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины — угадывание. Если только сам дух времени соблюден — в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку — противно даже».

В этом одна из тайн суриковского творчества: он угадывал русскую историю не сквозь исторические книги и сухие летописи, не сквозь мертвую археологическую бутафорию, а через живые лики живых людей, через внутреннее чувство вещей, предметов и форм жизни. Для этих провидений была необходима вся необычная бытовая и родовая подготовка души, которая была дана Сурикову. Только благодаря ей, конечно, он мог так творчески глубоко зажигаться о встречные лица.

«Женские лица русские я очень любил, непопорченные ничем, нетронутые. Среди учащихся в провинции попадаются еще такие лица. Вот посмотрите на этот этюд, — говорил он, показывая голову девушки с сильным, скулистым лицом: вот царевна Софья, какой должна была быть, а совсем не такой, как у Репина.⁶⁷ Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать; взмах бровей, может быть... Это я с барышни одной рисовал. На улице в Москве с матерью встретил. Приезжие они из Кишинева были. Не знал, как пойти. Однако решился. Стал им объяснять, что художник. Долго они опасались — не верили. И Пугачева я знал: у одного казацкого офицера такое лицо.

Мужские-то лица по скольку раз я перерисовывал. Размах, удалъ мне нравились. Каждого лица хотел смысл постичь. Мальчиком еще, помню,

в лица все вглядывался — думал: почему это так красиво? Знаете, что значит симпатичное лицо? Это то, где черты лица сгармонированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, — а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали, — сущность красоты. Греческую красоту можно и в остыке найти. А какое время надо, чтобы картина утряслась, так чтобы перемешать ничего нельзя было. Действительные размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна линия, одна точка фона и та нужна. Важно найти замок, чтобы все части соединить. Это — математика. А потом проверять надо: поделить глазами всю картину по диагонали». Жаждя реализма, голод по точности были очень велики у Сурикова. «Если бы я ад писал, то и сам бы в огне сидел и в огне позировать заставлял», — говорил он с энергией. Ту же самую непосредственность и силу вкладывал он в восприятия произведений искусства и людей.

Про Тинторетто он как-то говорил:

«Черно-малиновые эти мантии... Кисть-то у него просто свистит».

Про Александра Иванова:

«Это прямое продолжение школы до-рафаэлитов — усовершенствованное. Никто не мог так нарисовать, как он. Как он каждый мускул мог проследить со всеми разветвлениями в глубину. Только у Шардена это же есть. Но у него скрыта работа в картинах. А у Иванова она вся на виду».

Однажды мы были вместе с Василием Ивановичем в галерее Сергея Ивановича Щукина и смотрели Пикассо. Одновременно с нами была другая компания. Одна из дам возмущалась Пикассо. Василий Иванович выступил на его защиту: «Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так должен всякую композицию начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражения была. Это для большой публики страшно. А художнику очень понятно».

Про публику: «Это ведь как судят... Когда у меня „Стенька“ был выставлен, публика спрашивала: „Где ж княжна?“. А я говорю: „Вон круги-то по воде — только что бросил“. А круги-то от весел. Ведь публика так смотрит: раз Иоанн Грозный, то сына убивает; раз Стенька Разин, то с княжной персидской». Про Льва Толстого: «Софья Андреевна⁶⁸ заставляла Льва в обруч скакать — бумагу прорывать. Не любил я у них бывать — из-за нее. Прихожу я раз; Лев Николаевич сидит: у него на руках шерсть, а она мотает. И довольна: вот что у меня, мол, Лев Толстой делает. Противно мне стало — больше не стал к нимходить».

Про разрыв Сурикова с Толстым я слыхал такой рассказ от И. Э. Грабаря: «Он Вам никогда не рассказывал, как он Толстого из дому выгнал? А очень характерно для него. Жена его помирала в то время. А Толстой повадился к ним каждый день ходить, с ней о душе разговоры вел, о смерти. Так напугает ее, что она после целый день плачет и просит: „Не пускай ты этого старика пугать меня“. Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, с верху лестницы на него: „Пошел вон, злой старик! Чтобы тут больше духу твоего не было!“. Это Льва Толстого-то... Так из дому и выгнал».

Этим исчерпываются мои записи бесед и рассказов В. И. Сурикова. Конечно, мне, знаяшему Василия Ивановича только несколько месяцев, довелось услыхать лишь небольшую долю его воспоминаний.

Сейчас живы десятки людей, знаяших его несравненно более интимно и слыхавших его рассказы в гораздо больших подробностях. Было бы бесконечно ценно для материалов об его творчестве и жизни, если б эти лица дополнили и исправили мои записи новыми вариантами и подробностями, так как обстоятельства детства и юности В. И. Сурикова настолько редки и необычны, что каждая новая черта имеет значение как для понимания его творчества, так и для психологии художественного творчества вообще.

